





ИЗ-ЗА КАКОЙ-ТО беды поезд два часа простоял на полустанке и пришёл в Москву только в три с половиной. Это огорчило Натку Шегалову, потому что севастопольский скорый уходил ровно в пять и у неё не оставалось времени, чтобы зайти к дяде.

Тогда по автомату, через коммутатор штаба корпуса, она попросила кабинет начальника — Шегалова.

— Дядя, — крикнула опечаленная Натка, — я в Москве!.. Ну да: я, Натка. Дядя, поезд уходит в пять, и мне очень, очень жаль, что я так и не смогу тебя увидеть.

В ответ, очевидно, Натку выругали, потому что она быстро затараторила свои оправдания. Но потом сказали ей что-то такое, отчего она сразу обрадовалась и заулыбалась.

Выбравшись из телефонной будки, комсомолка Натка поправила синюю косынку и



вскинула на плечи не очень-то тугой походный мешок.

Ждать ей пришлось недолго. Вскоре рявкнул гудок, у подъезда вокзала остановилась машина, и крепкий старик с орденом распахнул перед Наткой дверцу.

— И что за горячка? — выбранил он Натку. — Ну, поехала бы завтра. А то «дядя», «жалко»... «поезд в пять часов»...

— Дядя, — виновато и весело заговорила Натка, — хорошо тебе — «завтра». А я и так на трое суток опоздала. То в горькоме сказали: «завтра», то вдруг мать попросила: «завтра». А тут ещё поезд на два часа... Ты уже много раз был в Крыму да на Кавказе. Ты и на бронепоезде ездил и на аэроплане летал. Я однажды твой портрет видела. Ты стоишь, да Будённый, да ещё какие-то начальники. А я нигде, ни на чём, никуда и ни разу. Тебе сколько лет? Уже больше пятидесяти, а мне восемнадцать. А ты — «завтра» да «завтра»...

— Ой, Натка! — почти испуганно ответил Шегалов, сбитый её бестолковым, шумным натиском. — Ой, Натка, и до чего же ты на мою Маруську похожа!



— А ты постарел, дядя, — продолжала Натка. — Я тебя ещё знаешь каким помню? В чёрной папахе. Сбоку у тебя длинная блестящая сабля. Шпоры: грох, грох. Ты откуда к нам приезжал? У тебя рука была прострелена. Вот однажды ты лёг спать, а я и ещё одна девочка — Верка — потихоньку вытащили твою саблю, спрятались за печку и рассматриваем. А мать увидела нас да хворостиной. Мы — реветь. Ты проснулся и спрашиваешь у матери: «Отчего это, Даша, девчонки режут?» — «Да они, проклятые, твою саблю вытащили. Того гляди, сломают». А ты засмеялся: «Эх, Даша, плохая бы у меня была сабля, если бы её такие девчонки сломать могли. Не трогай их, пусть смотрят». Ты помнишь это, дядя?

— Нет, не помню, Натка, — улыбнулся Шегалов. — Давно это было. Ещё в девятнадцатом. Я тогда из-под Бессарабии приезжал.

Машина медленно продвигалась по Мясницкой. Был час, когда люди возвращались с работы. Неумолчно гремели грузовики и трамваи, Но всё это нравилось Натке — и людской поток, и пыльные жёлтые автобу-



сы, и звенящие трамваи, которые то сходились, то разбегались своими путанными дорогами к каким-то далёким и неизвестным ей окраинам: к Дангауэровке, к Дорогомиловке, к Сокольникам, к Тюфелевой и Марьиной рощам и ещё и ещё куда-то.

И когда, свернув с тесной Мясницкой к Земляному валу, шофёр увеличил скорость так, что машина с лёгким, упругим жужжанием понеслась по асфальтовой мостовой, широкой и серой, как туго растянутое суконное одеяло, Натка сдёрнула синий платок, чтобы ветер сильнее бил в лицо и трепал, как хочет, чёрные волосы.

В ожидании поезда они расположились на тенистой террасе вокзального буфета. Отсюда были видны железнодорожные пути, яркие семафоры и крутые асфальтовые платформы, по которым спешили люди на дачные поезда.

Здесь Шегалов заказал два обеда, бутылку пива и мороженое.

— Дядя, — задумчиво сказала Натка, — три года тому назад я говорила тебе, что хочу быть лётчиком или капитаном мор-



ского парохода. А вот случилось так, что послали меня сначала в совпартшколу, — учишься, говорят, в совпартшколе, — а теперь послали на пионерработу: иди, говорят, и работай.

Натка отодвинула тарелку, взяла блюдечко с розовым, быстро тающим мороженым и посмотрела на Шегалова так, как будто она ожидала ответа на заданный вопрос.

Но Шегалов выпил стакан пива, вытер ладонью жёсткие усы и ждал, что скажет она дальше.

— И послали на пионерработу, — упрямо повторила Натка, — Лётчики летят своими путями. Пароходы плывут своими морями. Верка — это та самая, с которой мы вытащили твою саблю, — через два года будет инженером. А я сижу на пионерработе и не знаю — почему.

— Ты не любишь свою работу? — осторожно спросил Шегалов. — Не любишь или не справляешься?

— Не люблю, — созналась Натка. — Я и сама, дядя, знаю, что нужная и важная... Всё это я знаю сама. Но мне кажется, что я не на своём месте. Не понимаешь? Ну



вот, например: когда грянула гражданская война, взяли бы тогда тебя и сказали: не трогайте, Шегалов, винтовку, оставьте саблю и поезжайте в такую-то школу и учите там ребят грамматике и арифметике. Ты бы что?

— Из меня грамматик плохой бы тогда вышел, — насторожившись, отшутился Шегалов. Он помолчал, вспомнил и, улыбнувшись, сказал: — А вот однажды сняли меня с отряда, отозвали с фронта. И целые три месяца в самую горячку считал я вагоны с овсом и сеном, отправлял мешки с мукой, грузил бочонки с капустой. И отряд мой давно уже разбили. И вперёд наши давно уже прорвались. И назад наших давно уже шарахнули. А я всё хожу, считаю, вешаю, отправляю, чтобы точнее, чтобы больше, чтобы лучше. Это как, по-твоему?

Шегалов глянул в лицо нахмурившейся Натки и добродушно переспросил:

— Ты не справляешься? Так давай, дочка, подучись, подтянись. Я и сам раньше кислую капусту только в солдатских щах ложкой хлебал. А потом пошла и капуста вагонами, и табак, и селёдка. Два эшелона



полудохлой скотины и те сберег, выкормил, выправил. Приехали с фронта из шестнадцатой армии приёмщики. Глядят — скотина ровная, гладкая. «Господи, — говорят, — да неужели же это нам такое привалило? А у нас полки на одной картошке сидят, усталые, отощальные». Помню, один беспокойный комиссар так и норовит, так и норовит со мною поцеловаться.

Тут Шегалов остановился и серьёзно посмотрел на Натку.

— Целоваться я, конечно, не стал: характер не позволяет. Ешьте, говорю, товарищи, на доброе здоровье. Да... Ну вот. О чём это я? Так ты не робей, Натка, тогда всё, как надо, будет. — И, глядя мимо рассерженной Натки, Шегалов неторопливо поздоровался с проходившим мимо командиром.

Натка недоверчиво глянула на Шегалова. Что он: не понял или нарочно?

— Как не справляюсь? — с негодованием спросила она. — Кто тебе сказал? Это ты сам выдумал. Вот кто!

И, покрасневшая, уязвлённая, она бросила ему целый десяток доказательств того, что она справляется. И справляется неплохо.





хо, справляется хорошо. И что на конкурсе на лучшую подготовку к летним лагерям они взяли по краю первое место. И что за это она получила вот эту самую путёвку на отдых в лучший пионерский лагерь, в Крым.

— Эх, Натка! — пристыдил её Шегалов. — Тебе бы радоваться, а ты... И посмотрю я на тебя... ну до чего же ты, Натка, на мою Маруську похожа!.. Тоже была лётчик! — с грустной улыбкой закончил он и, звякнув шпорами, встал со стула, потому что ударил звонок и рупоры громко закричали о том, что на севастопольский № 2 посадка.

Через тоннель они вышли на платформу.

— Поедешь назад — телеграфируй, — говорил ей на прощание Шегалов. — Будет время — приеду встречать, нет — так кого-нибудь пришлю. Погостишь два-три дня. Посмотришь Шурку. Ты её теперь не узнаешь. Ну, до свиданья!

Он любил Натку, потому что крепко она напоминала ему старшую дочь, погибшую на фронте в те дни, когда он носился со своим отрядом по границам пылающей Бессарабии.



Утром Натка пошла в вагон-ресторан. Там было пусто. Сидел рыжий иностранец и читал газеты; двое военных играли в шахматы.

Натка попросила себе варёных яиц и чаю. Ожидая, пока чай остынет, она вынула из-за цветка позабытый кем-то журнал. Журнал оказался прошлогодним.

«Ну да... всё старое: «Расстрел рабочей демонстрации в Австрии», «Забастовка марсельских докеров». — Она перевернула страничку и прищурилась. — И вот это... Это тоже уже прошлое».

Перед ней лежала фотография, обведённая чёрной траурной каёмкой: это была румынская, вернее молдавская еврейка-комсомолка Марица Маргулис. Присуждённая к пяти годам каторги, она бежала, но через год была вновь схвачена и убита в суровых башнях кишинёвской тюрьмы.

Смуглое лицо с мягкими, не очень правильными чертами. Густые, немного растрёпанные косы и глядящие в упор яркие, спокойные глаза.

Вот такой, вероятно, и стояла она; так, вероятно, и глядела она, когда привели её



для первого допроса к блестящим жандармским офицерам или следователям беспощадной сигуранцы.

...Марица Маргулис.

Натка закрыла журнал и положила его на прежнее место.

Погода менялась. Дул ветер, и с горизонта надвигались стремительные, тяжёлые облака. Натка долго смотрела, как они сходятся, чернеют, потом движутся вместе и в то же время как бы скользят одно сквозь другое, упрямо собираясь в грозовые тучи.

Близилась непогода, и официанты поспешно задвигали тяжёлые запылившиеся окна.

Поезд круто затормозил перед небольшой станцией. В вагон вошли ещё двое: высокий, сероглазый, с крестообразным шрамом ниже левого виска, а с ним шестилетний белокурый мальчуган, но с глазами тёмными и весёлыми.

— Сюда, — сказал мальчуган, указывая на свободный столик.

Он проворно взобрался на стул и, стоя на коленях, подвинул к себе стеклянную вазу.



— Папа... — попросил он, указывая пальцем на большое красное яблоко.

— Хорошо, но потом, — ответил отец.

— Ладно, потом, — согласился мальчуган и, взяв яблоко, положил его рядом с тарелкой.

Человек достал папиросу.

— Алька, — попросил он, — я забыл спички. Пойди принеси.

— Где? — спросил мальчуган и быстро соскочил со стула.

— В купе, на столике, а если нет на столике, то в кармане в пальто.

— То в кармане в пальто, — повторил мальчуган и направился к открытой двери вагона.

Человек в сером френче открыл газету, а Натка, которая с любопытством слушала весь этот короткий разговор, посмотрела на него искоса и неодобрительно.

Но вот за окном, подавая сигнал к отправлению, засвистел кондуктор.

Человек во френче отложил газету и быстро вышел. Вернулись они уже вдвоём.

— Ты зачем приходил? Я бы и сам пришёл, — спросил мальчуган, опять забираясь коленями на сиденье стула.